

Вадим Пересветов

Телеграммы из детства

Рисунки: Юрий Козловский

Intro

Когда человеку уже за сорок, то он вряд ли во всех подробностях помнит, каким он был в детстве и своей ранней юности. Тем более, когда вся последующая после «трудного» возраста жизнь измеряется в формате год за три, человеческий «хард-диск» не выдерживает и безжалостно, не спросившись хозяина, сбрасывает в trash многое, что в принципе уже не имеет никакого значения, но необходимо хотя бы для того, чтобы лучше понимать своих собственных детей. И как ни крути, в этом контексте всякая бредовая мелочь оказывается важной, в том числе и для себя самого. Ведь «все возвращается на круги своя», несмотря на то, что время вносит свои безжалостные коррективы. А еще «нет худа без добра». И отсутствие у автора этих строк даже тончайшего намека на симпатии к точным наукам, сыграло определенную роль. Именно на столь нелюбимых

мною уроках алгебры и геометрии, физики и химии я начал записывать все, что помнил, включая свои в крайней степени смешные и наивные переживания и нелепые рассуждения. То есть, все то, что могло бы отчасти составить по образному выражению Жан-Поль Сартра «тесную скорлупу ранних детских лет, из которой мало-помалу вылупляешься, но так и не сбрасываешь ее окончательно». Родители, школа, друзья, первая любовь, переживания за каждый прожитый день... К детской мозаике добавились разные, в том числе и хулиганские, более поздние эпизоды. Затем все это слилось воедино, и было громко названо КНИГОЙ!

Однажды, когда я извлек все это напечатанное еще на пишущей машинке (никаких компьютеров в наше время не было, да и сами машинки были далеко не у всех) из ящика стола, и перечитал, то очень долго потешался над самим собой. Кое-что я немедленно разорвал на мелкие клочки, вдоволь накормив ими мусорное ведро. А потом подумал: а что если, не меня примитивности не всегда связанных между собой сюжетов и малозначимых диалогов, навести на оставшиеся и уже пожелтевшие записки соответствующий марафет и с небольшими лирическими отступлениями с высоты сегодняшнего дня создать некую временную эклектику (где пост-юношеское

выделено курсивом)? И, наконец, опубликовать их в качестве неподдающегося классификации «эйсид читива» (что-то вроде музыки «Orbit Experience»), абсолютно не претендующего на роль литературного произведения, и адресованного крайне узкому кругу лиц, в основном тем, кто указан в нижеследующем повествовании (фамилии некоторых из героев намеренно изменены). Просто так, чтоб было. Опубликовал же мой коллега и приятель Леша Вишневецкий свои «33 рассказа про любовь» с главным героем Витей Лихоборским, за которым легко угадывается сам автор карманного бестселлера, к портрету которого я легко смог бы добавить еще несколько смачных штрихов. И проглотил читатель это крайне юморное блюдо, не подавился. Как, впрочем, и я, потому что моя жизнь в определенный период мало чем отличалась от жизни Лихоборского, разве что именами друзей-приятелей и количеством выпитых спиртных напитков. Так что, если «Телеграммы из детства» придутся по вкусу как самый затрапезный винегрет после трехдневного голодания, значит, и мой труд был не напрасен. Ни тогда, когда я судорожно сжимал в запотевшей руке дешевую шариковую ручку, пряча под партой мелко исписанные страницы, ни тогда, когда отдавал сэкономленные на завтраках деньги на их перепечатку машинистке Даше, почему-то

обозвавшей мою книгу злой. Ни тогда, когда сидел за «Макинтошем» и редактировал «старые» слова, вместо того, чтобы написать новые и заработать денег. За что отдельное спасибо моей жене Светлане, и родившейся «под елочку» доченьке Анастасии, нередко дававшей папе возможность сосредоточиться на двадцать-тридцать минут в день.

Отредактированные на «Макинтоше» слова пролежали в компьютерном чреве еще десять лет и только когда мне пошел шестой десяток, я решил: пора вытащить писанину на свет и сделать это собственноручно...

Взрослая ностальгия

Начало шестидесятых... Кажется, не так уж давно все это было. Деревянный двухэтажный дом на Средней Переяславской. Резное крыльцо парадного входа. Каменная, местами треснувшая, а то и вовсе развалившаяся, отполированная до блеска стоптанными башмаками жильцов коммуналки, лестница. Со стороны «черного» входа, её винтовая металлическая «сестра».

И та, и другая ведут в квартиру, куда меня привезли из роддома. Помимо вечно ругавшихся между собой сестер моей бабушки, в доме жил двоюродный брат матери Лева, — хороший человек,

уступивший нашей семье на время еще один далеко не лишний угол. Из медного, начищенного до блеска сусального золота, кухонного крана течет только холодная вода. Нет бойлеров, тайгеров, фэйри и прочих премудростей. Вилла Рива и Вилла Баджио несказанно далеки во всех отношениях.



Зато рядом, через шумный Проспект Мира с почти монументальными, дразнящими охрой зданиями, в Банном переулке Ржевские бани. Гордо восседая в детских санках, я путешествовал в Банный каждый четверг. Мое внимание привлекали люди в белых фетровых шапках, сидящие высоко в парной с вениками и с варежками на руках, и банщик, время от времени заходящий в ту же парную с шайкой и с одним и тем же вопросом: «Ну, что мужики, поддадим»? «Поддадим,

поддадим», — слышались летящие сверху голоса, а вместе с ними и легкое кряхтенье от повысившейся буквально через считанные секунды температуры. Я стоял внизу у самой двери, боясь сделать шаг в этом пространстве, и смотрел на тех, кто наверху, как на аксакалов, сидящих на вершине горы. Так же мне нравилось смотреть как здоровенные, завернутые в простыни мужики, сидя на больших кожаных диванах, пили пиво из огромных запотевших кружек, аппетитно чистили воблу или хрустели посыпанными крупной солью сушками. Рядом с ними умиротворенно, под чай с мятой играли в шахматы интеллигенты, напротив гремели нардами и возгласами «шиш биш!» горячие южные парни. Всякий раз, после бани я приставал к отцу с расспросами, и он подробно объяснял мне смысл увиденного и услышанного мной. Но однажды я увидел нечто! А именно, наколотых на двух ягодицах чертей с лопатами, бросавших при ходьбе их обладателя уголь аккуратно в расположенную посередине топку... «Что это?» — удивленно спросил я у отца. «Сынок, на это лучше не смотреть», — ответил он мне, и я впервые подсознательно ощутил существование неких табу, сформулированных в ёмком «подрастешь — узнаешь».

В огороженном глухим частоколом дворе, вся

ландшафтная архитектура которого состояла из скрипучих качелей, нескольких яблонь и неизменных акаций, да еще выступавших в роли экспонатов музея Мадам Тюссо, старух, — стоял большой сарай с дровами. Холодно — принес дров побольше, градус высокий — перестал топить печь вовсе. Не надо было звонить, мнящим из себя больших начальников хамоватым диспетчерам ЖЭКов, терпеть пробную топку в тлеющем теплом и желтыми листьями сентябре, замерзать в ненастье до официальной отмашки всем котельщикам города. Когда смолкал гомон Рижского рынка, а эхо колоколов стоящей напротив церкви, медленно уплывало поближе к Богу, когда гасли последние огни дипкорпуса по соседству, на темных улочках раздавался воровской пересвист, скрипело железо, ежели урки, перепрыгивая с крыши на крышу, «уходили» через слуховые окна. В этом старческом постанывании кровли, жалобном писке давно несмазанных петель и закодированных звуках, рядом с большой артерией продолжала свою жизнь Переяславка и Москва Гиляровского, одного из самых любимых и почитаемых мной соотечественников.

Все там же, через Проспект Мира, в Больничном переулке, врезавшись в землю буквой «П», до сих пор стоит школа, в которой я проучился все десять лет. О том, что она когда-то была

лучшей французской школой на территории одиннадцати часовых поясов, и носила гордое имя Ромена Роллана, знают уже немногие. «Мы не принимаем детей наших бывших учеников», — сухо сказала директриса моей однокласснице, когда та пришла с одной из своих дочерей.

Непривыкшие к хамству родители, идут со своими чадами в другое место или же обратно через дорогу, в художественную школу № 3. Её директор, сын известной актрисы Людмилы Ивановой, Ваня Миляев, тоже наш одноклассник, привык видеть в человеке человека. Когда-то мы посмеивались над его картинами, на тему выписанного с разных сторон Храма Иконы Божией Матери «Знамение», который был хорошо виден из окна его квартиры, и неисчерпаемого и столь же вольно трактуемого космоса. (Не Гречко, чай)! Но со временем Ваня стал действительно настоящим художником, а картины его воспитанников стали экспонироваться в городе, где Эйфель воткнул свою гениальную ажурную железку.

Многие из роллановцев живут за границей. Все в той же двуличной Франции, бюргерской, объединенной предательскими усилиями Горбачева Германии, кипящей страстями вокруг корриды и независимости басков и каталонцев Испании, обобравших весь мир и в конец обнаглевших Штатах, зажавшем земли у своих братьев по

крови-палестинцев Израиле... Вот и я часто примерялся к разным городам и странам, видел себя то жителем относительно тихого Асунсьона, приютившего цвет белого офицерства, а позднее уцелевших черно-коричневых, то шумного «сидади маравильоса» («волшебного города») Рио, с его силиконовыми красавицами и явным призраком вич-инфекции. Камень за камнем ощупывал цитадель Мальтийских рыцарей, обнимался с пробковыми деревьями в Португалии, присматривал виды на море в Греческой Глифаде и похожем на детскую песочницу Тунисе, в окрестностях Зальцбурга топтал черными лакированными ботинками белый как саван австрийский снег... Я уже почти представлял, как выглядит мой собственный дом в Касабланке или Оране, да только изначально ощущал, что мое место здесь — в Москве. Биоритм города, со временем ставшего истинным космополитом, пульсирует в висках, горячит кровь. Сильно подпорченный менталитет российского народа, все равно пока еще остается родным и близким. Когда долго отсутствую, испытываю огромный дискомфорт. Болею, иногда кажется, физически. По возвращении радуюсь буквально всем, кроме разного рода отморозков и многочисленных «гостей столицы», которых в город, в общем-то, никто и не звал... Со временем гости стали

чувствовать себя хозяевами и только один день в году, второго августа, им намекают, что они все-таки в гостях и, что они сильно задержались.

Дом на Переяславке уже давно остался лишь в воспоминаниях молодого поколения его жильцов, да того же Вани Миляева, который иногда, глядя из окна своего кабинета, вытягивает руку со стопариком водки, распрямляет, больше похожий на «деловой» карандаш, указательный палец и объясняет несведущим: «А, Перес-то, вот здесь жил!» После этого совсем короткого, но эмоционального замечания я гордо расправляю плечи, не решаясь для себя определить, что в этой сентенции важнее: «я» или «здесь»? Лет сорок назад я, не задумываясь, выбрал бы первое, ибо многое было, как принято выражаться, «спереди». Теперь твердо знаю — второе, хотя по-прежнему хотелось бы думать и о том, и о другом одновременно.

На Камчатке

Еще задолго до поступления в школу я просто мечтал учиться и умел читать и писать. Также я знал несколько английских слов, которые в дальнейшем мне совершенно негодились. Первая прочитанная книга имела незатейливое

название «Цветик-семицветик» и, понятное дело, не сохранилась, в отличие от первых «памятников» собственного эпистолярного жанра в виде адресованных к находившемуся на отдыхе отцу писем, по написанию больше напоминающих берестяные грамоты Киевской Руси. Так же я умел немного играть в шахматы, но это уже к процессу школьного обучения не относилось. Навряд ли директор учебного заведения, в которое я был зачислен, на собеседовании вместо желания услышать от меня тривиальный стишок про дядю Степу захотел бы сгонять со мной партию в игру, требующую обоюдной осмысленности действий.

Утром самого первого 1 сентября, в ожидании которого, казалось бы, были прожиты все сознательные годы, я вышел через парадный вход в сопровождении родителей и сестры. Проходя через двор большого каменного дома, в глаза привычно бросилась, нацарапанная гвоздем на выкрашенной в ядовитый зеленый цвет беседке, отчетливая надпись: «ВЕДЕРНИКОВА-ДУРА!» Впрочем, ее вряд ли, могли видеть ее родители, а указывать на «приятные мелочи» считалось неприличным. В цоколе основательно построенного пленными немцами дома размещались ателье и большой продовольственный магазин. Поэтому рядом с подсобкой всегда стояли специальные металлические ящики для бутылок из-под кефира и

можайского молока, на которых зимой мы катались с горы, в компании все той же Ведерниковой, лихо пронесившейся мимо адресованного ей послания. Товарищами по достойному книги рекордов Гиннеса «фристайлу» были хорошо говоривший по-русски, но путавший рода турок Йыгыт («мой мама пошел в магазин, а моя папа еще на работе»), и ходивший ко мне в коммуналку катать по полу машинки жлобистый поляк Михаль. Иногда к ним присоединялись их соседи по дипкорпусу: загадочные темные индусы и пахнущие жареной селедкой вьетнамцы.

Кожаный ранец был плотно притянут ремнями к спине. Я шел, высоко подняв в руке букетик цветов и мешок со сменкой, который мама сшила из куска серого материала, радуясь солнечному утру и смущаясь под доброжелательными взглядами прохожих. Во дворе школы было многолюдно и оживленно: пестрые костюмы взрослых контрастировали с темно-коричневой униформой для девочек (в обычные не праздничные дни их носили с черными фартуками!) и серой мышинного цвета для мальчиков. Белые банты и обязательные белые воротнички не вносили никакого разнообразия и все подчинялось формуле того времени: все и во всем должны быть одинаковыми. Первоклашек торжественно приглашали войти в помещение, а

через прикрепленные к стенам алюминиевые матюгальники звучали напыщенные речи и громкая музыка. Когда вынесли флаг пионерской организации, то 1 сентября напомнило предстоящие всенародные торжества по поводу самой сомнительной революции, но все равно было интересно и немного волнительно.

В этот же день я, разумеется, увидел и свою первую учительницу, Иду Иосифовну. Почему-то было принято считать, что первая училка должна запомниться точно так же, как впоследствии первая женщина. То есть, по любому, она должна быть хороша несмотря ни на что. Ида действительно отпечаталась в памяти на всю жизнь, но по-другому. Она запомнилась своим увесистым кулаком и цепкими крючковатыми пальцами, которыми с силой стучала по голове несчастного, в том случае если ей казалось, что ученик неправильно или же не до конца понимал разъясняемый ей материал. («Вот, дубина-то! Учитель три раза объяснил, уже сам все понял, а ты еще нет». Байка, годящаяся на все времена). Иногда она действительно бывала ласкова и даже отзывчива, особенно на подарки родителей. Больше всего в период тотального дефицита Ида Иосифовна «уважала» французские духи, хорошую косметику, дорогие перчатки и прочие мелочи, включая большие коробки шоколадных конфет и

шампанское. Наверное, она не отказалась бы и от денег, но брать и давать деньгами в то время, было не принято.

Учился я хорошо и поначалу меня даже ставили в пример. Говорили, что я дисциплинирован, сижу на уроках не отвлекаясь, думаю, работаю и буквально ловлю каждое слово учителя. Вот только родители с подарками не спешили и очень скоро все стало с точностью до наоборот. С начала второго класса я стал «неисправимым», перекочевал в разряд слабаков и в кандидаты навылет, где и был принят в сообщество, сидящее на последних партах или как тогда называлось, «на Камчатке». «Зачем Пересветову учиться в такой школе как наша, — говаривала Ида Иосифовна, — ведь есть школы и попроще. Его место именно там».

«На Камчатке» я сидел за одной партой с одним из моих первых школьных товарищей Андреем Гвиндиным. К официальному образовательному процессу Гвинда подходил свысока и с большим недоверием, многое, компенсируя другими, как ему казалось, более полезными занятиями. Он умел воспроизводить нехитрые нанайские мотивы, и под изображаемые звуки варгана постоянно пилил, иногда служившим ему линейкой, большим толстым ребристым куском

плексигласа свою часть школьной парты, произнося как некое шаманское заклинание одну и ту же фразу «Я — народный вредитель!» Однажды, где-то на помойке Гвинда нашел, напоминавшую огромную складную перфокарту, книгу для слепых, с дырочками вместо букв. Всего-то навсего, специфической азбукой была написана тургеневская «Му-му», но в портфель она не помещалась даже по частям. Нежданно не гаданно полюбившееся произведение «самого французского из всех русских писателей» Гвинда носил под мышкой левой руки и каждый новый день начинался с того, что книга с громким шелестом открывалась на определенной странице и Гвинда, закрыв глаза, перебирал пальцами по страницам, издавая продолжительное, местами душераздирающее мычание. В такие моменты его круглое лицо становилось необыкновенно одухотворенным и отрешенным от школьной суеты. Со стороны он напоминал засыпающего за органом католического священника и процесс этой своеобразной медитации прекращался только тогда, когда Ида Иосифовна хватала его за большое ухо, которое лихо заламывала книзу своими цепкими пальцами. От неожиданности и резкой боли Гвинда издавал истошный вопль, падал со стула на пол и закрывал ставший пунцового цвета, травмированный орган ладонью. Ко всему прочему,

его бедные многострадальные уши не один раз высмеивались в классной стенгазете, где они изображались в виде огромных локаторов, жадно ловящих подсказки. В общем, это они — уши, были виноваты во всем. Ида Иосифовна так помнится и говаривала, что Гвиндин такая бестолочь только из-за них. Мол, если бы не эта особенность все слышать, давно бы научился полагаться только на свою голову. Наверное, так продолжалось бы довольно долго, пока в один из дней так и не дочитанное до конца произведение не было отобрано и выброшено в то место, где и было найдено. Гвинда долго ходил хмурый, перестал напевать нанайские мотивы, но в отместку пропилил в парте уже несколько явно лишних сантиметров, что приближало его к давнишней мечте сделать из одной парты две.

Еще одной «бестолочью» была Ленка Рукина, ходившая в школу даже зимой (непонятно по каким причинам) в форме с коротким рукавом. Она была крепко сложена и любила демонстрировать бицепсы и драться с мальчишками. Рукина жутко расстраивалась, когда ее оставляли на дополнительные занятия или ставили низкие оценки. Ведь из-за этого у нее ну никак не могла появиться обещанная родителями белочка в колесе!

Позднее к компании примкнул Саня Гордеев. Будучи новичком, а их везде норовят подразнить и

обидеть по любому поводу, Саня поначалу был очень робок и застенчив. Наш классный (понимай предыдущее слово, как хочешь) забияка — мастер по засовыванию канцелярских кнопок в яблоки и колготки Антошка Азаров сразу же дал ему обидное прозвище «Мячик» и однажды вызвал его на чернильный бой.

Вот он верх варварства! Противники сжимают ручки между большим и указательным пальцами и в позе фехтовальщиков размахивают блестящими металлическими перьями прямо перед глазами друг у друга. Победившим считается тот, кому первым удастся попасть противнику чернилами в лицо. В «технических» перерывах происходит дозаправка «рапир», народ живо комментирует происходящее и подбадривает противоборствующие стороны. О том, что риск стать одноглазым очень высок, понятное дело, никто и не думает. В этом возрасте за нас думают старшие, а мы с ними, как правило, не очень-то соглашаемся.

Сиделось «на Камчатке» замечательно, особенно, когда самая первая и по умолчанию любимая не чеканила своими каблучищами среди рядов, а ее небольшую приземистую фигуру скрывала голова Вани Миляева, который был значительно выше всех остальных и маячил за первой партой перед учительским столом, словно

не забитый в доску гвоздь. За что и получил впоследствии кличку «Длинный», на которую, впрочем, не обижается до сих пор.

Пионэр

В классе царит необыкновенное оживление: завтра начинаются летние каникулы! Такое впечатление, что растревожен и никак не может успокоиться большой пчелиный рой. Оживляж достигает апогея, когда я просовываю в дверь свою обриту наголо голову. От взрыва хохота вибрируют оконные стекла, слетает лежащая на краю доски пыльная тряпка, а несколько человек деланно валятся со стульев на пол. Со всех сторон летят вопросы: «Откуда сбежал, Перес? За что сидел?», обидные сравнения с легендарным героем гражданской войны Котовским и прочие дурацкие прибаутки типа «Лысый, лысый, иди по-пы-сый!» Девчонки, те вообще хохотали до слез, а некоторые из них участливо гладили меня по голове. Все закончилось, как только в класс вошла учительница и ее монотонный голос словно нехотя прорезал внезапно наступившую тишину. Но я даже не пытался прислушиваться к нему. Я смотрел в окно и вспоминал прошлое лето.

Мы с бабушкой в Эстонии, в райском месте под названием Кясму. Благоухающие хвоей леса,

холодное величественное море, чайки на беспорядочно разбросанных валунах, источающие густой смоляной запах перевернутые вверх дном лодки на берегу, дым из коптильни рыбака по соседству... Мой день рождения, торт с цифрой 9, надувной дирижабль и большой букет цветов из сада хозяев, у которых моя бабушка, мамина мама Александра Ивановна Попова много лет снимала комнату и террасу.

Бабушку я до сих пор вижу, как живую. Вот она всегда скромно, но очень аккуратно и со вкусом одетая, красивая, выдержанная. «Пионэр», «пенсионэр» и «музэй», — это из ее лексикона. «Ба, дай мне носовой платок, я хочу высморкаться». «Да что ты, внучек, — отвечает она на мою просьбу, — разве так можно выражаться! Надо говорить — не высморкаться, а я хочу освободить нос». Она все делала хорошо. Несмотря на скромную зарплату, а затем на более чем скромную трудовую пенсию, всегда держалась с большим достоинством. Комната в коммуналке на первом этаже, — вот все что после нашей Переяславки смогли дать ей на старости лет, вдове погибшего в безумном пекле Сталинграда героя. Дед Павел, был крупным специалистом по турбинам и ему предназначалась бронь, которой незаслуженно воспользовался другой человек. Впрочем, он за нее и не думал «цепляться», а как истинный гражданин и патриот своей страны ушел на фронт, до этого имея о солдатских сапогах и об оружии весьма поверхностное

представление. (Из официального письма: Уважаемая Александра Ивановна! Имя Вашего мужа рядового 260 стрелковой дивизии 1028 стрелкового полка Попова Павла Павловича увековечено в памятных списках погибших героев Сталинградской битвы, которые бережно хранятся в одном из отделов дирекции мемориала. В зале Воинской Славы памятника-ансамбля на 34-х символических траурных знаменах значатся только 7200 имен погибших участников Сталинградской битвы. Они олицетворяют память всех павших в этой великой битве. Имена остальных погибших героев заносятся в памятные списки дирекции мемориала. 260 стрелковая дивизия входила в состав 1-ой гвардейской армии Донского фронта, а с ноября 1942 года — в состав 24-ой армии того же фронта. Командовал дивизией полковник Мирошниченко Г.К.

Директор Дирекции памятника-ансамбля Героям Сталинградской Битвы Т.Р.Пекарский).

После смерти Павла Павловича бабушка замуж так и не вышла. Умерла она вследствие неудачной операции, «зарезанная» на хирургическом столе районной больницы.

Долгое время, как живая память о ней, в нашем доме жил пес Митя, однажды приبلудившийся к Александре Ивановне, но затем выбравший в качестве своей будущей хозяйки мою маму. Помню, в тот день в Институте нам раздавали темы для домашнего сочинения и мне досталась: «Как я воспитывал четвероногого друга». «Но, у меня никогда не было ни одного животного! — пробовал возражать я, — и

вообще эта тема больше подходит для детского сада, а не для будущих переводчиков». «Ничего, ничего, попросите рассказать что-нибудь об этом ваших товарищей, у которых есть кошка или собака, — растянулась в ехидной улыбке преподаватель французского Любовь Гавриловна Шофа, — можете почитать соответствующую литературу. В конце концов, это важно с точки зрения расширения лексического запаса иностранного языка». Каково было мое удивление, когда вернувшись домой поздно вечером, я вдруг увидел метнувшийся от двери в комнату маленький рыжий комочек с обрубленным хвостом. Я сделал удивленной лицо. «У нас теперь собака, — сказала мама и просияла улыбкой, — назовем ее Микки, как ту собаку, что была в Эстонии». Митя без всяких телефонных звонков лучше всех знал, когда бабушка придет к нам домой и минут за пятнадцать до ее прихода уже в ожидании лежал у порога. Также он очень любил ездить к ней в гости на трамвае, облаивая через окно огромных кобелей.

Долгожданный звонок слился с радостными криками и воплями стремительно выбегавших на улицу одноклассников. Впереди всех, перелетая через половину ступеней или скользя по перилам, летел Антошка Азаров, за ним почти не отрываясь Ленка Рукина. Сотрясая пространство, и тяжело посапывая, стараясь не отставать насколько это возможно, бежал Гвинда.

— Ну, покуда, — уже на улице говорит мне

Андрюха, протягивая пухлую руку, — в следующем году меня здесь уже больше не будет. Надоело все, до чертиков опротивело. Перехожу в другую школу.

— И я тоже, — почти кричит Азаров.

— Что тоже? — удивленно спрашиваю я.

— Ухожу, так вот.

— Счастливо оставаться, — говорят они мне и быстро шагают в сторону метро, размахивая портфелями и мешками со сменной обувью в разные стороны.

Июнь и июль пришлось провести дома. А в августе родители отправили меня в пионерский лагерь в Евпаторию. Я блаженствую под ритмичный перестук колес, балдея только от одной мысли, что целый месяц можно не слышать вечные отцовские «Поставь тапочки на место! Почему разбросаны учебники?» и прочие назидания по мелочам, которые, хлебом его не корми, он любил делать просто ежеминутно.

Поезд пролетает мимо станции Тарусская. В двадцати минутах ходьбы от платформы на участке почти в четверть гектара стоит старый деревенский дом. В нем после Великой и кровавой Октябрьской революции живет еще одна моя бабушка мать отца — Лидия Михайловна Цуварева. Она постоянно

вспоминает себя еще при таскавших над ней зонтик
гувернантках и ворчит на советскую власть.
Занимавшиеся рыбным промыслом, частным извозом и
владевшие смолокурными заводами в Архангельске
ближайшие родственники Лидии Михайловны
смотались (и правильно сделали) от большевиков
подалее в Америку. О том, что в трудные годы
пришлось распрощаться со всем семейным
богатством, остатки которого в виде украшений и
дорогой посуды, менялись на хлеб и крупу, Лидия
Михайловна говорила реже, потому что это состояние
для нее было, мягко говоря, менее предпочтительным.
Волею судеб она научилась со смыслом «ковыряться в
земле» и всю оставшуюся жизнь провела в саду и в
огороде. Соседей она не любила и общению с ними
предпочитала до самой глубокой старости пятьдесят
грамм коньячку и «беседы» со своей любимой курицей,
которая часто сиживала у нее на локте и, казалось,
внимала ее речам.

Дед — Константин Михайлович Пересветов —
Потомственный заслуженный гражданин России
уничтожил данную ему грамоту, чтобы избежать
расстрела, но прожил немного и его я уже не застал.
Но остались фотографии, на которых Константин
Михайлович запечатлен в безукоризненном костюме и
он же, но уже в худые времена, в свитере и кирзачах.
По рассказам отца, он был интеллигентным и хорошо
образованным человеком, любил литературу и поэзию.
Частенько в компании НКВДэшников, которым
почему-то нравилось ходить к нему в гости, играл в

преферанс. Дед не пил и не курил (очень редко позволял себе хорошую сигару), никогда ни на кого не повышал голос, очень многое носил в себе. Спасаясь от репрессий, строивший железные дороги необъятной страны, дед уехал в Тульскую область и устроился мастером на станцию, где добывал свой хлеб насущный в поте лица, чтобы прокормить четверых детей, один из которых, Викторин умер в раннем возрасте.

Когда старший сын, мой отец, участник Великой Отечественной Войны Валерий Константинович, стал в 42 года полковником Генерального штаба СССР, завистники из числа все тех же военных, прислали кляузу, что Константин Михайлович во время этой самой войны вешал в лесу партизан. Тогда у отца случился первый инфаркт. В работе батя развивал астрономическую энергию. В один год, летая в командировки, он провел в воздухе времени больше чем на земле. Количество городов и селений, в которых он побывал, исчислялось тысячами. Уже в достаточно зрелом возрасте он «отметился» в Афганистане, за что получил Орден Красной Звезды. В последние годы своей жизни отец писал книгу об истории Военно-транспортной авиации, но не успел доредактировать с десятков страниц. Изношенное сердце остановилось окончательно. Я придумал к ней красивое название «Сначала были самолеты...», а сестра издала ее за собственный счет. Но ВТА она оказалась не нужна. На предложение выкупить хоть часть тиража в штабе ответили, что они бедные и денег у них нет.

Проходит день, за ним ночь и поезд влетает в утро, в свете которого мелькают платформы местного значения и станции больших и малых городов, где состав останавливается на пять-десять минут. Перроны пестрят овощами и фруктами, салом и семечками, косынками местных жительниц, продающих свое и соседское. В гомоне людской речи превалирует «гыканье» и слова с неправильным ударением (по няла, не по няла), придающим особое «очарование» русскому языку.

В Евпатории мы садимся в автобус, едем по местным, раскаленным от солнца, дорогам и торжественно, под звуки духового оркестра въезжаем на территорию пионерского лагеря. После построения всех отправляют на взвешивание, во время которого я даже не успеваю ничего вытащить из карманов, в которых столько всего, и это все может храниться только в них. «Зачем мальчишкам карманы»?.. Человек в белом халате посмотрел на меня поверх очков, почему-то вздохнул и снисходительно махнул рукой: «Свободен»! Нас развели по корпусам и зачитали лагерный распорядок.

— Як в казарме, — вслух пошутил один хохол, после чего немедленно был отправлен убирать мусор.

— Подъем и зарядка, — пояснял

воспитатель, — обязательны для всех без исключения. Далее уборка или дежурство, — это зависит от графика, обед, тихий час — обязательно, купание на море, ужин. Вечером просмотр кинофильма или танцы.

— Вы будете участвовать, — подхватывает с придыханием пионервожатая, в интереснейших культмассовых мероприятиях, таких как «Праздник строя и песни», «Инсценировка политической песни», игра «Зарница».

Лица совсем юных пионеров грустнеют и вытягиваются.

— Я собственноручно буду отрывать головы, — заключает директор под наши недоуменные взгляды, — всем нарушителям дисциплины, а также лицам, покинувшим территорию лагеря без разрешения.

Нам дали день на отдых, потому что со следующего дня мы должны были учиться маршировать. Сорок хлюпиков шагали кто левой, кто правой по маршруту столовая-корпус-столовая, орали, словно лужеными глотками девиз, речевку и отрядную песню. На счет три-четыре остановка. «Горох! — глупо улыбаясь, произносит вожатая свое любимое слово. — Придется пройти еще раз». И так каждый божий день.

Зато как бы мы не уставали, в столовую летели как на крыльях. Но сев за стол страстное,

почти непреодолимое желание чего-нибудь поесть, всякий раз быстро остывало. Еда была не вкусной и почти холодной, так как ее раскладывали заранее. Пропуском для выхода из столовой служила пустая тарелка, а в карманах не должно было быть хлеба. Народ шел на невиданные ухищрения, но мест в немногочисленных горшках с растениями не хватало, выкинуть её за окно незаметно получалось далеко не у всех и не всегда, поэтому едой просто бросали друг в друга. И только один пионер из нашего отряда ел столовскую еду. И не одну порцию, а несколько. Был он из города Камышина и пояснял нам несмышленным юным ленинцам из столицы, что в их городе почти не бывает мяса и колбасы, а потому все о-о-очень вкусно! А синие мокрые котлеты особенно.

Мы уходили из столовой, забирая с собой чувство голода и презирая запрет покидать территорию лагеря: как же, ведь по соседству колхозные поля! Подножный корм был явно предпочтительней. После отбоя, уже лежа в палатах, под байки прошедшего дня хорошо шел десерт из абрикосовой зубной пасты...

Но до отбоя был долгожданный вечер. Сорок хлюпиков нашего отряда носились друг за другом по танцплощадке, передразнивали знакомых и незнакомых пионеров, отчаянно размахивали руками и ногами, изображая танцы. Зато как горели

глаза, когда объявляли медленный танец и голос Александра Лосева проникновенно выводил: «Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека». Или же: «С целым миром спорить я готов, я готов поклясться головою. В том, что есть глаза у всех цветов, и они глядят на нас с тобою». Медляки танцевали на расстоянии вытянутых рук. Прижиматься друг к другу считалось вызывающей и непростительной смелостью.

Через двадцать лет я встретился с Александром Лосевым в помещении первой частной компании шоу-бизнеса «Biz Enterprises» Бориса Зосимова, у которого я поначалу работал пресс-атташе, а затем еще в течение нескольких лет был его советником по СМИ. Лосев и тогда оставался легендой, а для нас останется ей в истории музыки навсегда. Он не был похож на пафосного человека, хотя вся огромная страна знала его в лицо, а многочисленные поклонницы денно и нощно годами дежурили у его подъезда. Наша встреча произошла самым обычным образом. В приемной у «папы Бориса» (именно с таким ударением, а не иначе: слушай одноименную, посвященную шефу, песню группы «Скандал», диск «Бэк ин Ю эСэС а», Magic Records) мы просто, что называется, столкнулись нос к носу и сходу зацепились языками. Сидя в больших кожаных креслах напротив президентского кабинета, мы наперебой вспоминали

ярких музыкантов конца семидесятых, прохаживались по гастрольной жизни. Из всех «рассказок» я запомнил только одну. О том, как во время гастролей по Колумбии у Лосева украли сумку, в которой помимо денег и ключей от квартиры был коробок с травкой. Озвучив обстоятельство, что у российского музыканта украли кошелек и запас кайфа одному из повстречавшихся на улочке Боготы местных жителей, Лосев немедленно был препровожден к местному пахану. Денег и ключей от квартиры тот вернуть уже не смог, но в знак компенсации за «причиненные неудобства» щедро вознаградил музыканта местным кумаром. От яркого впечатления о колумбийской столице, глаза Александра Лосева заблестели, и он перенесся в какое-то свое измерение. Когда «папа Борис» освободился, Лосев надолго застрял в его кабинете, а когда вышел оттуда я спросил, куда можно ему позвонить. «Вот», — сказал он, протягивая свою визитную карточку, на которой значилось: «Александр Лосев — поп-звезда, без адреса и телефона».

Больше мы никогда не виделись. Потом мне рассказали о смерти его сына, умершего от передозировки наркотиков и о том, что отец в своем безутешном горе начал очень быстро спиваться, употребляя спиртное с кем ни попадя. Однажды, включив телевизор, я увидел его в программе «Старая квартира». По всему чувствовалось, что выйти на сцену его просто заставили. Несмотря на то, что в группе переиграло целое соцветие музыкантов, действительно, что за «Цветы» без Лосева? С экрана

основатель «Цветов» Стас Намин рассказывал про то, как все начиналось и про то, как «Цветы» были «советскими «Битлз». В перерывах звучали музыкальные номера. Сильно ссутулившийся с крупными каплями пота на лбу Лосев с трудом пел «под фанеру», а пальцы рук безудержно дрожали в попытке изобразить игру на бас-гитаре. Из зала, под проплывающую над сводами «звездочку мою ясную», на него растерянно смотрели повзрослевшие поклонницы, обычные экс-советские женщины, пришедшие на встречу со светлым символом своей молодости, а увидевшие одряхлевшего и почти опустившегося кумира. Откуда им было знать...

Клава

Я быстро нашел своих. Посчитал: двадцать пять девочек, восемь мальчиков — я девятый. Как обычно мы ворвались в класс, сметая все на своем пути. Рассевшись по местам, мы стали внимательно разглядывать пожилую женщину с накрашенными ярко-красной помадой губами и с волосами цвета пожара на химическом заводе. В кармане короткого черного платья небрежно торчали очки без одной дужки с висящей вместо нее спутавшейся ниткой.

— Здравствуйте, — обратилась она к нам, — меня зовут Клавдия Степановна Коробкова. С вами мы будем изучать очень интересную науку

математику, позднее алгебру и геометрию. Математика — важнейшая из наук. Без математики нельзя должным образом изучать физику, химию и даже литературу и русский язык.

При этих словах нас просто разорвало от смеха, а ее правильная, с точки зрения «родного и могучего» речь, внезапно исчерпала себя. Скрываемое волнение стало заметным. Не обращая на наши бурные эмоции никакого внимания, Клава (а именно такое ей было придумано прозвище) продолжила: «Хотела я вот уйти на пенсию, да коль уж так получилось, доведу теперь и вас до десятого класса, а там и на покой пора». Позже мы узнали, что Клава была родом из деревни Крестики Рязанской области, в Москве оказалась благодаря замужеству за каким-то партийным работником, а в школе, как и многие учителя, и ученики, по блату. Эти самые «крестики» мы ей и рисовали мелом на очках, когда она оставляла их на столе, а нас, меня и Димку Гончана, по ее выражению «пиздарных» пересаживала на центральный первый ряд, чтобы мы ее внимательней слушали, а она нас лучше видела. Надев очки и обнаружив, что что-то не так, Клава протирала линзы измазанными мелом пальцами и получались два больших бельма, что всякий раз веселило без меры всех присутствовавших.

С математикой и с самой Клавой у меня сразу

не заладилось. Я открыто конфликтовал с ней, бывало еще и хамил, уже твердо решив для себя, что никакими точными науками заниматься не буду, ибо только от одного вида учебников кишки просились наружу. Такая вот идиосинкразия... Клава скользила своим пальцем с кривым наманикюренным ногтем по классному журналу, делая вид, что сразу не может определить, кого спрашивать, хотя для себя все отлично знала заранее.

— Пересветов пойдет решать пример.

Над классом пронесся вздох облегчения, я же сделал вид, что не услышал своей фамилии.

— Пересветов! — еще раз повторила она.

— Я!?

— Да, ты!

— Как?

— Да, вот так вот.

— Как это вот так вот? — изобразил я обиду и удивление.

— Иди, решай, кому говорю, раскакался у меня тут!

Я нехотя поплелся к доске, делая всем отчаянные знаки глазами, чтобы мне подсказывали, но столь необходимая помощь не приходила. С минуту-другую я потоптался на лобном месте. Решить пример не удавалось.

— Иди, садись. Глупай-то, вот глупай-то!

Такую простоту решить не может. Два тебе!

— Большое спасибо.

— А нахальной-то, пиздарнай-то! Как отвечает, — заводится Клава. Циник, иждивенец, чтоб родители завтра в школе были!

Я хорошо помню, как отец занимался моим воспитанием. Происходило это следующим образом. Два раза в году, чаще у него в силу постоянных командировок не получалось, после первого и второго полугодия он брал мой дневник, с вырванными и замененными страницами соответственно, внимательно просматривал его, тут же по ходу требовал пояснений, а затем делал разбор полета часа на полтора-два. В такие моменты мне казалось, что было бы предпочтительней, если бы он взял ремень и просто меня высек, не говоря ни слова. Впрочем, за всю жизнь это было лишь однажды. Еще, будучи совсем ребенком, я отпросился погулять до прихода гостей в праздничном костюме, а когда вернулся в разодранной и измазанной одежде и зашел в комнату, где все уже собрались, отцовские нервы не выдержали. Он тут же сгреб меня в охапку и отнес в соседнюю комнату на экзекуцию. Мама же никогда меня не наказывала и только для острастки брала все тот же ремень, когда я отказывался спать днем. Она клала его рядом с собой таким образом, чтобы я мог хорошо видеть эту широкую

офицерскую португую, и я тут же закрывал глаза и начинал ровно дышать, притворяясь, что засыпаю. Мама уходила, а я вскакивал с постели и снова начинал стоять на ушах.

— Пиздельник, — снова заводится Клава. Учиться совсем не хочет. Я вот позвоню твоему папаше на работу, чтобы там обсудили твоё поведение, чтоб тебя из школы выгнали, а его самого с работы. Она подходит к занавеске и вытирает об неё руки. — Давай его телефон.

Я диктую номер.

— А теперь выйди из класса! — уже в бешенстве орет она на меня.

Я прикрываю дверь с обратной стороны, но оставляю щелочку, чтобы послушать, что будет дальше.

— Саня Гордеев сидит и ржет.

— А ты чё скалишься, пиздельник, — нападает на него Клава. Твоего отца такая же участь ждёт, понял?

— Он у меня за границей.

На следующий урок приходит завуч и объявляет всему классу, что дирекция школы будет ходатайствовать перед МИД СССР с целью срочного возвращения отца Гордеева из загранкомандировки с целью перевоспитания сына. Полный бред!

Конечно же, Клава была явно инородным телом в среде наших учителей, многих из которых мы очень любили и признательны им до сих пор. Это были настоящие интеллигенты. Таких людей уже давно не делают. А тут человек из темной глубинки, «вознесшийся» до привычных среди партийных деятелей окриков и вечного стремления всех наказать, снять, поставить на вид. Разительный контраст с остальными и, в первую очередь, с самим директором Яковом Степановичем Кильдишевым, которому школа во многом обязана своим бывшим авторитетом. Чего стоили только одни стажировки для старшеклассников, когда все, вне зависимости от своих собственных успехов отправлялись на месяц-полтора во Францию, дабы там совершенствоваться в знании языка. (В наше время ездили уже только отдельные активисты-комсомольцы, да сама новая директриса Раиса Землякова, не понимавшая по-французски ни единого слова, всякий раз скалившая зубы во время переговоров с французами, еще до того, как ей что-либо успеют перевести). Казалось, что Яков Степанович знал всех учеников по именам и фамилиям, а когда ему встречались дети из младших классов, он, раскланиваясь перед ними, расплывался в широченной и добродушной улыбке, к своему приветствию обязательно добавлял «дорогие» и прижимал к себе как родных. Когда пятнадцать лет спустя после окончания школы я случайно встретил его у станции метро «Перспект Мира», он был уже глубоко пожилым человеком. «Извините, что я не сразу узнал вас, —

сказал он мне, — сами понимаете, ведь, сколько вас было, да и времени прошло немало». Он протянул мне руку и в его глазах появился такой же теплый огонек, как и тогда, когда он здоровался с первоклашками. Мы немного поговорили, а потом я еще долго смотрел как Яков Степанович медленно, с трудом идет по улице, до тех пор, пока его небольшая и уже сгорбившаяся фигура не затерялась в потоке вышедших из подземки людей.

Встретилась мне однажды и Клава. Хорошо, что к тому времени я уже полностью затормозил. Она вылетела словно вихрь из арки того дома, где некогда находилось кафе-мороженое «Чебурашка», впоследствии ставшее местом модной тусовки для всех окрестных раздолбаев, а ныне очередным дорогостоящим заведением. Зацепившись за бампер моего автомобиля тяжеленными сумками с продуктами, Клава метнула в мою сторону недобрый взгляд: «Понаставили тут!» Я подумал о том, что надо бы было выйти и что-нибудь сказать, извиниться за то, что все в молодые годы действительно от недостатка ума, от какой-то дикой нетерпимости, но потом передумал. Глядя, как она несется по улице, понял, что за ней не угнаться.

Tombe la neige¹

¹ «Падает снег» (фр.) — хит в исполнении Сальваторе Адамо.

Зима вступила в свои права. Цепляясь за ветки деревьев и яркие крыши аккуратных домов, на землю пушистыми хлопьями тихо падал мягкий снег. («Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir, tombe la neige...»)² Изредка почти идиллическую тишину нарушал скрип колеса на котором сидели два деревянных аиста и голоса школьников, приехавших отдохнуть на зимние каникулы в подмосковный лагерь «Ёлочка». Первым человеком, с которым я познакомился, был мой сосед по палате Костя, темноволосый мальчишка с немного вытянутым лицом и плотно сжатыми в самодовольной усмешке губами. Как и положено соседям, мы много времени проводили вместе, катаясь на катке и на лыжах. Часто играли в пинг-понг и подолгу в шахматы.

Однажды во время прогулки Костя увидел девочку.

— «Красивая! Очень красивая!» — восхищенно произнес он, и в углу его широко открывшегося рта растянулась липкая белая слюна.

— Немного похожа на мою первую любовь, — ответил я.

Костя остолбенело выпучился на меня, закрыл

² «Падает снег, ты не придешь сегодня, падает снег...»

рот, а затем выдавил: «Ну, ты даешь! Когда это было?»

— В середине третьего класса. Мы жили в одном доме, и она была старше меня на год...

Две девчонки, одну из которых, за высокий рост Костя с присущей ему язвимостью сразу же окрестил «Оглоблей», а другую за многочисленные родинки на лице «Бородавкой», медленно шли за нами и возможно прислушивались к разговору. Уже не знаю в силу каких причин, но со временем они стали за мной ухаживать (или как это называлось тогда — бегать), то есть караулить меня на улице или в помещениях и подсовывать под дверь записки примерно следующего содержания: «Вы будете очень любезны, если навестите нашу палату завтра в восемь часов вечера».

В начале девяностых я по заданию несостоявшегося журнала «Курорт-Досье» был командирован его главным редактором Костей Ковалевым на Алтай, в прекрасное место под названием Белокуриха, где разместилась одна из крупнейших в Сибири здравниц. Судя по тому, что мне рассказывал главный врач и из того, что я видел своими глазами, там творили настоящие чудеса. Но в эпоху мобильной связи, в номерах гостиниц, за исключением почти единичных номеров с приставкой «люкс», не было даже обычных телефонов. Поэтому я сильно удивился, когда

однажды увидел как две необъятные тетушки за сорок, хихакая словно школьницы, спускали на нитке свернутую в трубочку записку мужикам, проживавшим ниже этажом.

Но, многое объяснялось не только отсутствием связи. В Белокурихе вообще было немало странного и я, вкалывавший с раннего утра и до позднего вечера, не придавал некоторым обстоятельствам никакого значения, думая, что все вроде идет как надо. Когда меня почему-то «забыли» встретить, хватило ума не купиться на настойчивые предложения барнаульских «таксистов» промчаться с ветерком прямо в зеленую зону, а доехать до нужного места на последнем рейсовом автобусе. Билеты на него, как назло, были все проданы, но я сумел договориться с шофером и заплатив ему какие-то не очень большие деньги, «сэкономил» себе не только здоровье, но и собственную жизнь. Ну, были навязчивые предложения по телефону развлечься в компании красивых девушек, попытки развести на бабки в местном ресторане, где гулял только что освободившийся из зоны какой-то Юрок, ну, еще какие-то мелочи. «У людей нет работы», — думал я и не догадывался о том, что я для них и есть, та самая работа.

Поначалу меня возил на «Волге» уже пожилой водитель и его медленная сверх всякой меры осторожная манера езды просто бесила. «Дай-ка я сам», — однажды предложил я ему. «Нет, нельзя. Мне приказали тебя возить, и я буду это делать. А если ты будешь тут летать как в Москве, то еще не дай Бог,

пиз...ся с горы. Кому это надо?» — ответил он мне. Может быть, в горах это действительно было оправдано, но я сразу понял, что до Барнаула я с ним по ночной дороге, случись что, не доеду. Тем более, что я уже хорошо (насмотрелся из окна автобуса) представлял себе эту выщербленную, почти безжизненную дорогу, где на всем ее протяжении было лишь несколько бочек с бензином — они же заправки, пара постов ни во что не вмешивающегося ГАИ, да деревянные, сдерживающие сход снежных лавин, заборы. Перед отъездом я попросил у администрации водителя пошустрее, и как оказалось не напрасно.

Подъехав к гостинице, автомобиль моргнул фарами, и я тут же спустился с вещами в холл, где круглосуточно охранявшие здание омоновцы открыли мне входную дверь. «Александр», — представился водитель. Я пожал протянутую крепкую руку и после пары дежурных фраз попросил его не останавливаться на дороге ни при каких обстоятельствах. Как только мы миновали границу здравницы, от внешнего поста ОМОНа отделилась «девятка» и нагло наседая нам на хвост, моргая фарами приказывала остановиться. Некоторое время мы упирались на дороге, но потом на более широком и прямом участке преследователь обошел нас и развернул свою машину поперек, включив аварийку. Через несколько секунд он уже стоял с моей стороны со «стволом» в руках и мычал что-то невразумительное. В этот момент меня просто заклинило. Я остекленело смотрел в одну точку, думая лишь о том, что перед самой поездкой неоднократно

возникало совершенно отчетливое предчувствие, что ехать в Белокуруху не надо, но билеты уже лежали в портфеле и что-либо менять было поздно. «Вот оно, началось!» — пронеслась в голове одна и та же лихорадочная мысль. Устав ждать моей реакции, человек с пистолетом подошел со стороны водителя. Александр приоткрыл окно и вместо ответа на нечленораздельное мычание сумел на мгновение отвлечь от нас его внимание, после чего резко рванул с места, буквально по краю обрыва огибая раскорячившийся впереди автомобиль.

И вот начались гонки по вертикали. Там, где с трудом можно было ехать двадцать, мы летели все шестьдесят. Из не выключенной магнитолы звучал голос Сальваторе Адамо «*Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir...*» Слова принимали другое значение, глагол «*tomber*» начал ассоциироваться с существительным³.

Девятка не отставала и слепила дальним светом. «Посмотрим, как ты себя здесь поведешь», — спокойно сказал Александр, и рванул в гору с крутым поворотом больше ста. Свет фар сзади как-то криво полоснул по лесу и неожиданно пропал. Вскоре мы выехали на трассу и, развивая бешенную для «Волги» с роверовским движком скорость под двести, полетели в сторону Барнаула. «Вдруг еще какая-нибудь засада?» — спросил я. «Теперь уже вряд ли», — сказал Саша и лихо обогнал по встречной черную иномарку. «Опасно я взял», —

³ la tombe (фр.) — могила.

сказал он, закончив маневр. «Зато красиво!» — ответил я, и вспомнил как не хотел ехать в эту командировку. В тот день я бесцельно кружил по городу, и, сидя за рулем, все думал: «А может быть, мне никуда не ехать?» В тот момент я не притворялся и не лгал самому себе, что мне грозит опасность, чтобы преумножить свою журналистскую значимость. Я действительно отчетливо предчувствовал ее. Но было уже поздно. Билеты на самолет лежали в кармане, а ответственность перед работой и людьми не давали возможности отыграть все назад.

В аэропорту в знак благодарности я купил литр водки: «Спасибо, Саша. Ты меня спас». «А кстати, что это было?» «Откуда мне знать, — ответил я, — когда вернешься, наведи справки». «Да, надобно, а то фигня какая-то приключилась». Мы крепко обнялись. Когда я уже прошел паспортный контроль и стоял у накопителя, Саша вбежал в здание аэропорта и стоя за ограждением, крикнул мне: «Я забыл передать тебе записку». «От кого?» «Не знаю», — пожал он широкими плечами. «Не задерживайте людей, гражданин», — сотрудница аэропорта буквально толкнула меня своим крутым бедром. К этому моменту уже объявили посадку в самолет. «Ладно, выброси ее», — крикнул я на ходу и махнул рукой.

Сидя в самолете, я все мучился, что бы там такого могло быть, и уже почти жалел, что импульсивно после «замечания» пошел вперед, в то время как надо бы было вернуться. Тем более, что самолет вот уже битых тридцать минут не взлетал.

Ждали, как мне казалось, каких-то важных персон. Каково же было мое удивление, когда в салон вошла говорливая толпа артистов, и я увидел Никиту Джигурду. «Здорово, Никита!» — остановил я его, пока он двигался вместе со всеми по проходу. Он сразу узнал меня, хотя мы и не виделись много лет. «Вот где довелось встретиться», — прохрипел он таким голосом, как будто у него в горле застрял ржавый напильник (часть общего героического имиджа). «Довелось», — подумал я и пристегнул ремни.

Наташа

С самого утра стояла такая погода, что раздумий о том, чем заняться не возникало. Я схватил лыжи и через несколько минут уже катил по лесу. Пройдя совсем небольшое расстояние, я увидел под горой группу лыжников, а чуть поодаль от них беспомощно барахтавшуюся в сугробе фигурку. Того, что один человек отстал от компании, пока не замечали. Скатившись с горы и затормозив, я нагнулся и протянул руку, пытавшейся самостоятельно встать на ноги девушке. Когда она повернулась, чтобы поблагодарить меня, я слегка растерялся. Сначала от того, что тут же признал в ней увиденную мной с Костей на прогулке девушку, а потом от того, что ее лицо оказалось так близко. Она действительно

была очень красивой. Тонкие черты лица, темно-карие, мягкие, словно южная ночь, глаза, изящно загибающиеся вверх ресницы. Из-под круглой меховой шапки выбивались длинные светлые волосы.

— Спасибо, — сказала она, и ее голос прозвенел в морозном воздухе хрустальным колокольчиком.

— Да что вы, что вы, не за что, — стараясь не волноваться, затараторил я в ответ, хотя уже было ясно, что я влюбился буквально с первого взгляда.

— А меня Наташей зовут. С этими словами она протянула мне руку в серой шерстяной перчатке.

— Вадим, — представился я в свою очередь и осторожно пожал маленькую ладонь. — Хотите, я догоню ваших товарищей?

— Пожалуй, нет. Я для них только обуза, потому что не очень хорошо катаюсь на этих самых лыжах и все время падаю, иногда даже на ровном месте.

Она махнула рукой спохватившимся друзьям, прокричав, чтобы шли без нее.

— Что-то они не сразу о вас вспомнили, — съехидничал я.

— Да, так бывает, но это не значит, что они забыли обо мне. Хотите составить мне компанию?

— С удовольствием, я не буду утомлять вас

лыжным кроссом, — сказал я, как мне казалось, изящную фразу.

— Можно на «ты», так будет проще, — Наташа посмотрела мне прямо в глаза.

Я кивнул в знак согласия.

— А я тебя вчера видел, — неожиданно для самого себя признался я.

— И где это интересно было? — ее голос приобрел кокетливые интонации.

— На территории лагеря. Мы с Костей, это мой приятель, стояли недалеко от столовой, когда ты пронеслась как молния. Ты всегда так летаешь без лыж?

— Нет, но иногда стараюсь пройти побыстрее, чтобы разные там не приставали, — рассмеялась Наташа.

— Ну, считай, что один из разных к тебе уже пристал, — пошутил я, явно не относя себя к этой категории.

— Не обижайся, — сказала Наташа, уловив в моих словах небольшую обиду, — я не имела в виду конкретно тебя. Это же так, расхожее выражение.

Мы не спеша брели по лесу. Иногда я, правда, дурачился, и время от времени по нескольку раз гонял с горы на гору, показывая, как я ловко катаюсь на лыжах и резко взбираюсь наверх. «Эй, подожди меня, не забывай, что я так не умею», —

кричала Наташа и пронзительно смеялась. Один раз она решила спуститься с горы вдвоем. «Ух ты! Здорово!» — восхищенно сказала Наташа, после того как мы стрелой пронеслись по крутому склону. Когда мы выходили на ровное пространство, ничего не значащие реплики сменялись обстоятельным диалогом. Мы говорили буквально обо всем, и казалось, не могли наговориться, с каждой минутой всё более проникаясь обоюдными симпатиями. Но время стремительно летело к обеду, и надо было возвращаться обратно.

Оставшиеся пять дней мы были неразлучны. Временами мне казалось, что я просто парю в облаках. После прогулок я с нетерпением ждал вечера, когда начинались танцы, на которые мы с Наташей приходили вместе, что как бы само по себе означало, что предложения остальных кавалеров не принимаются. Входя в большое освещенное помещение с блестящими полами, мы трогательно держались за руки. Я гордо нес высоко поднятую голову, делая вид, что не замечаю окружающих, лишь изредка слегка кивая своим знакомым. При нашем появлении Бородавка с Оглоблей прижимались к углу и начинали отчаянно перешептываться и жестикулировать.

— Кто эти девочки? — однажды спросила Наташа, когда в один из вечеров они подошли ко мне, одновременно пригласив меня на танец.

— Мне кажется, они пытались за мной ухаживать, — слегка помявшись, ответил я.

— Надо же, какой ты у нас популярный, — нахмурилась Наташа.

— Не сердись, ты же понимаешь, что они меня не интересуют. — Мне кроме тебя вообще никто не нужен, — сказал я сдавленным голосом, изо всех сил стараясь скрыть волнение.

— Правда?

— Еще какая!

Наташа крепко сжала мою руку и украдкой поцеловала меня в щеку.

Костя наблюдал за нами с любопытством и плохо скрываемой завистью. С не меньшим интересом в сторону Наташи смотрели и ребята постарше. На ней были, вызывавшие восторженные взгляды мальчишек и девчонок, только входившие тогда в моду синие брюки-клевш и белый, плотно облегающий фигуру, шерстяной джемпер. Я был в отутюженных брюках, рубашке, а на ногах красовались отцовские, на пару размеров больше моего, ботинки из лакированной кожи.

На танцах играл вокально-инструментальный ансамбль с колоритным соло-гитаристом Володей Пескаревым, ухлестывавшим за моей сестрой, и электрогитары в руках длинноволосых парней также будоражили кровь, как и сама нарождавшаяся тогда поп-музыка. Однажды я «по

знакомству» взобрался на сцену, и ребята ради прикола разрешили мне спеть переложенную на русский язык «Venus», исполнявшуюся не только на танцуйках, но и буквально во всех дворах. (Трудно было найти человека с гитарой, который не умел бы в наше время играть и петь «Шизгару» — этот бесхитростный хит всех времен и народов). «А было мне семнадцать лет, когда увидел я тебя...», — выводил я высоким в то время голосом, гордо держа микрофон в руках. Надо ли говорить каким героем я спустился со сцены!

В перерывах между выступлениями ВИА Пескаря со товарищи крутили все тех же «Цветов» с Сашей Лосевым, Юрия Антонова и «Песняров». Пары медленно раскачивались под космическую «Александрину» или под приземленную «У берез и сосен...» Юрия Антонова. Иногда Наташа близко прижималась ко мне всем телом, отчего у меня учащалось сердцебиение, и появлялась неведомая ране истома.

Однажды Юрий Антонов участвовал в одном из организованных мной больших сборных концертов, проходивших под эгидой газеты «Московская правда», на страницах которой я основал рубрику «Rock atr; Pop». Помню, как певец переживал за свою новую «девятку» и успокоился лишь тогда, когда поставил ее прямо за открытой сценой Зеленого театра Парка Горького. Вышел из автомобиля надменный, почти ни с

кем не здороваясь, матюгаясь к месту и не к месту: давал звезду по полной программе. Как ни странно, но в моей обширной коллекции нет ни одной пластинки Антонова, которые по идее тоже должны быть неотъемлемой частью того, что связывает наше поколение с собственной юностью. А вот «Песняры» есть все, несмотря на то, что изданная на «Мороз-рекордз» наиболее полная антология группы по качеству записей оставляет желать много лучшего. Как пояснил мне продюсер серии Андрей Давидович (Светлая память!), это следствие того, что с Владимиром Мулявиным в то время невозможно было договориться, так как он очень часто бывал в неадекватном состоянии, и записи «Песняров» пришлось собирать по частным коллекциям. Жаль... Потому что Владимир Мулявин и созданные им «Песняры» — это целая эпоха.

Помню одно из их «закрытых» выступлений в Госплане СССР, когда, отыграв обязательную программу, в которую непременно входила нравившаяся обывателю «Вологда» и прочие проходные номера, «Песняры» дали такого жару, от которого не только Полу Маккартни («если бы у «Битлз» были голоса «Песняров», — то мы бы перевернули весь мир»), но и полному составу участников арт-роковой «Yes» наверняка тоже было бы, о чем призадуматься. Впрочем, по этому поводу я, конечно, могу немного преувеличивать. А, может быть, и нет. Но сегодня, когда я время от времени слушаю «Александрину», я понимаю, что это действительно неземная песня и

божественное озарение Владимира Мулявина. Простая голосовая партитура была исполнена «Песнярами» так глубоко и тонко, что, по сути, светская песня была признана Божьими людьми своей. (Выступление в знаменитом Успенском соборе, куда «Песняры» были приглашены после концерта в Смоленске в 1971 году). Поэтому я, однажды и написал, что «Песняры» — это больше чем музыка: «ПЕСНЯРЫ» — ЭТО КОСМОС!» Пока звучит «Александрина», я верую в Бога.

Кроме танцев, конечно же, было кино. В кино можно было взяться за руки или украдкой поцеловать друг друга в щечку. При том, что на лицах всегда был видимый интерес к картине, происходящее на экране волновало меньше всего. Близость противоположного пола в отсутствии света была самой лучшей мелодрамой и боевиком одновременно. Старый лозунг «Темнота — друг молодежи!» имел конкретную подоплеку и сакраментальный смысл. Наверное, поэтому многие из просмотренных в юности фильмов просто не запомнились.

После кино я провожал Наташу до ее домика, после чего возвращался к себе в палату, где Костя с порога начинал расспрашивать о том, как развиваются мои отношения с Наташей, корил меня за то, что я совсем перестал с ним общаться, променял мужскую дружбу на какую-то там юбку. Когда утром я уходил на очередное свидание, он

демонстративно брал коньки и клюшку и с суровым, насколько это было возможным для него, видом шел на каток, даже если там никого не было. После обеда он играл сам с собой в шахматы и разыгрывал по книжке бесконечные дебюты и гамбиты, показывая, что это его действительно занимает.

Настало время возвращаться домой. Мы обменялись с Наташей адресами. Присутствовавший при этом Костя так же записал ее адрес в свою аккуратную записную книжечку, сказав, что это просто так, на всякий случай, после чего неохотно оставил нас в покое.

... Я долго держал ее руки в своих руках. Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Наташин отец стоял чуть поодаль у своих красных «Жигулей», иногда посматривая в нашу сторону. Снег тихо падал на землю. Было немного грустно.

— Ты мне, пожалуйста, пиши. — А то, когда нам всем на окраинах телефоны поставят, — сказала Наташа.

— Я люблю писать письма, но надеюсь, что мы все-таки будем видеться, — попытался я улыбнуться. Затем от волнения немного натянуто добавил: «Хотя бы время от времени».

— Надеюсь...

Наташин отец сделал красноречивый жест

рукой.

— Ну, вот, видишь, мне пора, — тихо произнесла она, — извини.

Пишите письма

В первый день в школе мне абсолютно не сидится за партой. Я постоянно ерзаю, смотрю в окно; все мысли только о ней, о Наташе. Где-то над моей головой проплывает голос Клавы о каких-то там уравнениях и долбаных числах. Я не могу дождаться конца уроков. Хочется побыстрее попасть домой и в спокойной обстановке написать письмо, к тому же, пока я был на каникулах, случилось весьма знаменательное событие.

Пока мама готовит обед, а она у меня всегда дома, потому что не работает, я залетаю в свою комнату и со словами «Ма, я пошел делать уроки!» хлопаю дверью, хватаю бумагу и ручку.

«Здравствуй Наташа! Ты просила написать тебе, и я решил сделать это как можно скорее, чтобы не заставляя тебя ждать. У меня потрясающая новость! Я готов прыгать от радости. Очень, очень скоро, буквально на днях, нам вне всякой очереди поставят телефон! Я уже знаю его номер — 417-55-13. Настроение просто отличное. Извини, но больше писать не о чем. Жду ответа. До свидания. Вадим». Это все что у меня получилось.